

ВСТРЕЧА

Михаил Кураев об основах морали

Моск. новости - 1993 - 21 марта (суб) - с. ВУ



Михаил Кураев появился в литературе за два года до своего пятидесятилетия, напечатав в 1987 году в «Новом мире» (№ 9) повесть «Капитан Дикштейн». Известный редактор и сценарист «Ленфильма» в течение нескольких лет занял в отечественной словесности свое отдельное место. Сейчас издано его пять небольших по объему повестей, в пятом номере «Новый мир» начинается публикация самой крупной вещи Кураева — романа «Зеркало Монтанчи». Его произведения удивили не только стилистической утонченностью, плотностью повествования, но и умением автора поднять рассказ о раздавленных жизнью, заурядных людях в ничем не примечательных обстоятельствах до уровня эпоса.

России лидерами левой оппозиции, потому что боролись и борются за духовную свободу и представительную демократию... и не с помощью абсолютно свободных и комфортабельно обставленных манифестаций, а в условиях жесточайшего террора и репрессий». Это публикация 1990 года. Говорят, сейчас Владимир Емельянович вступил в спор с самим собой, что ж, внутренние противоречия — один из стимулов творчества. Мне же в панегирике по адресу наших духовных вождей, панегирике совершенно справедливом, неудачным представляется стиль, а не мысль. Ну как же это так — люди «типа Солженицына». Кто это? А кто у нас был «типа Сахарова»? Может быть, имелось в виду, что Даниэль «типа» Синяевского, но это все-таки с точки зрения только гбистов, прокурора Темушкина и публициста Теофанова. Досадно слышать из уст русского прозаика о людях «типа Солженицына».

— Изменения форм жизни повлекли за собой изменения в языке. Как вы воспринимаете расширение языкового пространства?

— На Руси, думаю, всегда любили поговорить, даже больше поговорить, чем заниматься делом, но революции и контрреволюции — это, конечно, самое многогречивое, многословное, безудержно болтливое время. Девальвация слова неизбежна. «Товарищи, в отношении ясности мысли и твердости воли нашей партии мы имели некоторую дополнительную проверку на этот год». Вы думаете, что из Платонова? Ничего подобного. Из речи Троцкого. «Каждый дурак может прострелить череп Ленина, но воссоздать этот череп — это трудная задача даже для самой природы». Думаете, снова Платонов, вычеркнутый цензурой? Нет, тоже Троцкий,

причем из собрания его сочинений.

А сегодня? Почитаемая мною поэтеца, чьи имя и фамилия всегда звучали для меня, как звонкий птичий посвист, в почитаемых мною «Московских новостях», громя «пис-союз», жонглирует каламбурами, что при родителях и произнести не посмеешь. Зачем это понадобилось тонкой, изящной поэтеце? Да потому что слово девальвировалось. Чтобы тебя услышали, может, действительно надо огоршить? Все слова затерты, сносятся. Инфляция слов катастрофическая, и гласность понимается как право выставлять свою болтовню напоказ; дикторы даже официальных программ соревнуются в развязности. Когда с амвона церкви на Смоленском кладбище, куда меня привели скорбные обстоятельства, я слышу в воскресной проповеди: «Осуществляйте повседневный нравственный контроль над собой. Будьте начеку (!). Ситуация, в которой все мы оказались...» Да это же речь выпускника совпартшколы! И не отличника, а провинциального троечника. Какой черт учил нынешних попов русскому языку?! А ведь именно церковный язык благодаря его консерватизму можно было уподобить нерезменному золотому запасу. Для меня именно протопоп Аввакум открыл слово как явление удивительное, прекрасное, невероятное. Именно в слове Аввакума для меня понятие «явленный дух» стало осязаемым, обжигающе волнующим. Не для одного меня звучит как молитва: «Не позазрите просторечию нашему...» Или: «Аз же, трюкаянный врач, сам разболелся, внутрь жгом огнем блудным, и горько мне быть в той час». О величайшем же неприличии с предельной откровенностью говорит человек, и можно все это хоть детям на ночь читать. Вот что та-

кое наш язык! Но это золотой запас. Ассигнации тоже вещь и нужная, и полезная, именно в повседневном обиходе; портреты на ассигнациях могут меняться, однако людям, причастным к литературе, к журналистике, конечно, нужно помнить об отношении этих ассигнаций к единственному нашему реальному золоту. А пока стремительно летит вверх цена на лавры бульварного репортера...

— Сейчас много говорят о судьбе литературы в условиях рынка. Что вы думаете по этому поводу?

— Великая русская литература XIX века и то лучшее, что дала литература века исходящего, не вписываются в контекст жизни, устраиваемой под лозунгом: «Народовластие плюс капитализация всей страны». Наша литература по духу, по сути, по морали своей антибуржуазна, хочет этого кто-то или не хочет. Сегодня мы видим, как чичиковы, именно чичиковы, тянутся к вождям, чтобы ошеломить своей ездой «все народы и государства». Моральный дегенерат, Петр Петрович Лужин, жених Авдотьи Романовны Раскольниковой, как раз и проповедует личное преуспеяние как основу всеобщего «как бы» благоденствия. Спасибо, что у него хватает совести добавлять это «как бы». А саркастический текст, служащий для Германна оправданием поправленной любви и растоптанного человеческого достоинства, может сегодня быть просто гимном предпринимчивых мужиков: «Так бросьте же борьбу, ловите миг удачи... Честь, совесть — сказки для бабья!.. Сегодня ты, а завтра я...»

Может быть, ошпеившие в нынешних обстоятельствах писатели, говорящие о переоценке ценностей, имеют как раз в виду подход к старой литературе с позиций новой морали? Убежден, что никакой новой морали нет. Есть мораль и есть аморализм. Попытка осуществления коммунистической идеи рухнула, на мой взгляд, лишь потому, что мораль была принесена в жертву политике. Теперь хотим точно так же принести мораль в жертву, ну скажем, экономике, а по сути эгоизму, личной выгоде. Убежден, что результат будет тот же. Человеческое сосуществование, выживание возможно лишь на основе уважения прав другого человека, что и есть основа морали. Выбора нет. Или жить по совести, или драться за жизнь и видеть в каждом живом или временного союзника, или врага. И здесь все надежды на человеческую способность к состраданию. Кстати, литература, для меня во всяком случае, жива именно состраданием. Конечно, полны глубокого сочувствия к каждому из нас гремющие из телевизора призывы: «Делайте бизнес с нами». Спасибо. У меня свой бизнес, «Да. Так диктует вдохновение: //Моя свободная мечта// Все льнет туда, где унижение, // Где грязь, и мрак, и нищета». А если продолжить блоковский цитату из стихотворения 1911 года, то можно услышать пророческий совет и не только писателям: «На непроглядный ужас жизни // Открой скорей, открой глаза, // Пока великая гроза // Все не смела в твоей отчизне...»

Сергей ШАПОВАЛ

— Михаил Николаевич, как вы себя чувствуете в новых условиях? Изменилось ли что-то в вашем мироощущении?

— Нынешние времена для литераторов крайне тягостны. Зыбкие, скверные времена. А вот для литературы вполне благоприятные. Интересы литераторов и литературы частенько не совпадают, очевидность этого утверждения свидетельствуют книги, а их немало, написанные в интересах литераторов, а не литературы.

Сплошь и рядом слышишь и читаешь о растерянности, о смене критериев, чуть ли не идеалов, ориентиров. Новые времена — новые песни. Ничего не понимаю. Разница для меня, например, только в том, что раньше я не мог открыто говорить все, что думаю, а теперь могу. Но точно так же, как и раньше, считал и теперь считаю, что мошенничать, захребетничать, жить за чужой счет, наживаться на бесправном и униженном положении других — непростительная подлость. И если сегодня мошенник называется заграничным словом, то пусть он думает, что его стервятничество стало подвигом во благо народа, а нам-то зачем «перестраиваться».

— Могли бы вы сформулировать свое писательское кредо?

— Я понимаю, что мое мировоззрение, то, что сообщает опору в жизни и подвигает к письменным занятиям, материалистическими аргументами утверждено быть не может и потому основано на вере. Мой символ веры замечательно сформулировал Андрей Синяевский, за что я ему искренне благодарен: «Искусство первично и заключено в основу вселенной. Само сотворение мира было актом художественным». Если бы сама жизнь не несла в себе органической художественности, она для меня утратила бы интерес. Жизнь еще более непредсказуема, еще более неожиданна, еще более художественна, чем можно было предположить на рассвете. В трамвае, на улице, в очереди я слышу каждый день реплики, вижу сцены, эпизоды ненаписанных романов, полотен, симфоний. Мучительно ощущать свою бездарность, беспомощность, невозможность ухватить, остановить эти удивительные мгновения человеческого бытия. Кстати, одна из моих любимых книг — это «Голос из хора» Синяевского, мне так понятно его состояние ошеломленности, непритворного счастья, когда на него обрушился лагерь, эта неведомая жизнь, во всей своей обжигающей художественности. С какой жадностью, как золотой дождь, он хватается и спешит прилепить к страницам бумаги и реплику урки, и собственные мысли о природе мастерства, явившиеся, например, во время отделки созданного своими руками табурета.

— Насколько я понимаю, Синяевский является для вас очень значительной фигурой?

— Я совершенно согласен с Владимиром Емельяновичем Максимовым, в публикации «Уроки свободы» в журнале «Русский архив» определившим место, которое, на его взгляд, занимает Андрей Донатович Синяевский в нашей общественно-политической жизни. «Люди типа Солженицына, Синяевского, Некрасова, Галича и Сахарова по праву считались и продолжают считаться в